



Ежи ФАРЫНО

«Антиномия языка» Флоренского и поэтическая парадигма «символизм/авангард»

В рамках тех представлений о языке и тех к нему требований, какие излагаются Флоренским в его труде «У водоразделов мысли», известном по публикациям отдельных глав «Строение слова», «Термин» и «Антиномия языка» (Флоренский 1973, 1986 а–б), поэтическая практика авангарда описывается только негативно: как одностороннее, крайне субъективное и гадательное явление. Самим Флоренским это демонстрируется на примерах из футуристов — на их неологизмах, зауми, палиндромах, типографических образованиях и, наконец, на «поэме» Василиска Гнедова, получившей вид чистого листа (1986 б: 140—153, т. е. главы X—XVI «Антиномии языка»). Предлагаемая концепция языка мыслится Флоренским как адекватная самому языку, т. е. его объективным свойствам. Это лучше всего видно тогда, когда Флоренский сталкивает свое личное, чисто субъективное восприятие футуристической продукции с интересубъективным. Например (1986 б: 151):

Крученых уверяет, что в его, ныне прославленном,

дыр, бул щыл и т. д.

«больше национального, русского, чем во всей поэзии Пушкина». Может быть, но именно только «может быть», но может быть — и наоборот. Мне лично это «дыр бул щыл» нравится; что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом «р л эз» выводит, как немазанная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. Но скажите вы: «А нам не нравится», — и я отказываюсь от защиты. По-моему, это подлинное. Вы говорите: «Выходка», — и я опять молчу, вынужден молчать. И «перевертни», вроде

Кукси кум мук и сук,

за исключением свойства читаться взад и вперед одинаково бессмысленно, не дает более того почвы для общечеловеческих суждений; <...>

Готовность не отвергать, а довериться заявлениям и поэтическим наитиям футуристов, естественно, призвана в первую очередь сохранить методологическую чистоту дискурса и заключений об объективно свойственных языку антиномиях.

Собственный дискурс Флоренского о языке у футуристов выстроен по принципу градации: привлекаемые примеры и их последовательность наглядно овнешняют авангардную парадигму слова от обладающего «логосом» и способного, при известных условиях, обновить обветшалый язык (ср. примеры с «голубель» и «Хвой шуют, шуют» — 1986 б: 148—149, главка XV) по способности разложить на «точки и черточки» и полное развоплощение и исчезновение, как в случае «поэмы» — чистого листа Гнедова со следующим заключением (там же: 153, конец главки XVI):

Да, творил, но не сотворил. Ему лист бумаги казался, спяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках — лист и только лист. Такой лист может быть самым глубоким из заумных неизреченных глаголов; но их «не леть человеку глаголати»: и заумный язык нуждается в Логосе. Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в исступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык.

О символистах Флоренский не говорит. Он останавливается на примерах из Лермонтова, Тютчева, Фета. Однако они не противопоставляются, как можно было бы ожидать, футуристам, а рассматриваются как «предтеча» последних по признаку возрастающей «свободы индивидуального языкового творчества» (там же: 141) и устремленности к слову, которое было бы способно «высказать несказанное» (там же: 140). В начале главки XII это выражено Флоренским однозначно (там же: 141):

Провозглашением этой свободы индивидуального языкового творчества обязаны мы сперва романтикам, а повторно — декадентам и футуристам. <...>

Когда речь была понята футуристами как речетворчество и в слове ощутили они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, они загомосили, забормотали, запели. Посыпались: новые слова, новые обороты, а то и просто звуки — «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не жизнеспособно. <...>

Начало этой градации или «деградации» (что более адекватно мысли Флоренского, хотя в данном случае слова «деградация» Флоренский не употребляет) — расхождение между языком и чувствованием, распространенное в поэзии XIX века сетование на невоплощаемость в слове неуловимых волнений души. Пре-

дел же — слово, «развязанное до чистого звука», «звуко-речь глубин», «бессловесный стон души» (там же: 140 и 151), т. е., по Флоренскому, уничтожение и самого языка (там же: 153):

<...> Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык.

Эта же градация несколько иначе выглядит изнутри, со стороны ее, так сказать, инициаторов и носителей, т. е. тогда, когда Флоренский свой собственный дискурс отодвигает на задний план, а на первый выдвигает реконструируемую и высказываемую за самих инициаторов-носителей их истинную интенцию (там же: 140—141 и 151):

«Не передашь» — «стихом размеренным», «не передашь» — «словом ледяным». Но, может быть, возможен *иной* стих, иное слово? В основе *нет* ничего, языком не сказуемого. Хотя *сейчас* нечто несказуемо, но, может быть, когда-нибудь и скажется *впоследствии*. Сделаем язык более гибким, более восприимчивым, сдерем с него застывшую кору и обнажим его огненную, вихревую, присно-кипящую струю. Языка тогда сразу не возникнет; но образуются завязи нового творчества, и эти завязи, может быть еще недостаточно или совсем почти неоформленные, впоследствии вырастут в слова и новые способы их сочетания. Твердое начало языка тогда перекристаллизуется более соответственно духу нового лирика.

Чтобы язык жил *полною* жизнью и осуществлял свои возможности, надо освободить индивидуальную языковую энергию и — не бояться множества неудачных, уродливых и нежизненных порождений. Тогда среди многого неудачного осадится кое-что удачное и безысходно нужное, — *то* возникнет, отсутствием чего болеет сейчас впечатлительная душа. Откликнется природе по-детски, всем телом и всею душою. Вот как, по мысли таких искателей, творится новое слово:

<...> Мало того, за-умный язык преследует высшую степень натуральности, полную непосредственность своего выявления: слово насилует непосредственно-ощущаемое, и только развязанное до чистого звука оно достаточно гибко, чтобы быть звуко-речью глубин. Но тогда-то именно, со устранением логической формы, устраняется и самое суждение подлинности. При полной бессловесности, стон души, насквозь искренний, никак не отличим от шутки или подделки, не выражающих никакого внутреннего движения. Мы не знаем, что воплотить хотел поэт, и *орис* его не дает никакого «что». Подлинно ли, и — если подлинно, — удачно ли его «как»? Первое неведомо никому, кроме автора, и остается на его совести, а второе — неведомо даже и автору, если даже чиста его совесть насчет подлинности за-уми. Явно, что это уже не поэзия, если сначала надо исповедать поэта.

Легко увидеть, что в данном случае градация мыслится не как «деградация» или «уничтожение» языка, а как нисхождение к речетворческим инстанциям, на те уровни или «глубины», где

могут образоваться «завязи нового творчества», «новое слово» или вообще «новый язык».

Последняя, реконструированная, формула языка описывается в системе Флоренского как «не-язык», как «бессловесность», т. е. негативно. Тем временем это не совсем так: те уровни, на которые спускается авангард, и не должно рассматривать как альтернативный язык имеющемуся. Они — не язык, а отдельные уровни языка вплоть до неких самых исходных семиогенных инстанций. Авангард называл их «новым» или «заумным» языком, тогда как на деле они не что иное как «содержание языка» и «речегенные механизмы». Флоренский, вероятнее всего, читал авангардные тексты как сообщения на имеющемся языке, тогда как авангард, чаще всего сам того не ведая, сообщал язык или содержание языка при помощи сообщения.

Все это станет более явственным, а противоречие между авангардом и Флоренским значительно сгладится, если на предавангардную литературу (особенно символизм), на авангард и на самого Флоренского взглянуть как на проявления одной и той же культурной парадигмы.

Язык для Флоренского — образование, оформившееся в слове. Поэтому нередко термины «язык» и «слово» употребляются у него синонимично. Один полюс «слова/языка» — «слово созревшее», «окончательно готовое» (Флоренский 1986 а: 235, 236). Оно

<...> предстоит нашему духу законченным произведением человечества, и таким словом надлежит лишь пользоваться, как *окончательно готовым*.

Но, с другой стороны, это же самое слово должно предельно выражать и *другой* полюс речи: оно мыслится нами как наиболее индивидуальное, наиболее отвечающее личному вопросу каждого, им пользующегося, и притом в каждый данный момент, по каждому особому поводу, при каждом частном намерении. <...> Оно пластично до предела, оно поддается тончайшим веяниям духа, впечатлевая их и запечатлеваясь ими. В нем словно предобразны все могущие возникнуть оттенки и направления духовных движений. <...> Коротче говоря, рассматриваемое слово мыслится как не имеющее в себе ничего готового, ничего заранее намеченного: пластической массой, ждущей велений духа и податливую на первое оформление, равно как и на первое же снятие прежде приданной формы, а точнее — как бы газообразную средю духоявлений, вовсе не имеющую собственной формы и годною в любой момент на все, — должно служить нам рассматриваемое слово.

III. *Тем и другим* должно быть это слово *зараз*: столь же гибким, как и твердым, столь же индивидуальным, как и универсальным, столь же мгновенно возникающим, как и навеки определенным исторически, столь же моим произволом, как и грозно стоящею надо мною принудительностью» (там же: 236—237).

Максимальное напряжение равноналичных в слове антиномических начал — формального и логического (смыслового), субъективного, чисто личностного и «всечеловеческого», объективного, окказионального и универсального, инвариантного — основной постулат Флоренского по отношению к слову и языку (там же: 235):

<...> Требуется же от него, по сказанному, наибольшая напряженность антиномичности.

Само собой разумеется, что такое равноналичие, такое «подвижное равновесие начал движения и неподвижности, деятельности и вещиности, импрессионизма и монументальности» (там же: 234) — лишь одно из состояний языка, состояние идеальное, по обе стороны которого располагаются всевозможные градации по степени и силе тех или иных начал, которые, собственно, и являются реально окружающей нас речевой стихией. Однако, судя по опубликованным главам «Антиномии языка», Флоренский рассматривает только вершинное состояние языка и только с его перспективы. По этой именно причине парадигму «романтики — <...> — футуристы» он расценивает как однородную, т. е. как нарастание перевеса чисто индивидуального и окказионального начала вплоть до «уничтожения языка» (Флоренский 1986: 153). Тем временем пред-авангардные формации и авангард или уже символизм и футуризм представляются как две противоположенных стороны одного и того же явления, одного и того же состояния языка, хотя и реализующиеся как бы отдельно друг от друга (во всяком случае, в сознании современников и в сознании их исследователей). Эта противоположенность может быть выражена двумя следующими формулами: «поиск слова» и «поиск в слове». Предавангардные формации, несомненно, ищут такого «слова», какое постулируется и самим Флоренским. Авангардные же — в том же «слове» ищут и незыблемых универсальных основ и крайне индивидуализированного начала, т. е. опять-таки не противоречат требованиям Флоренского, с той только разницей, что если Флоренский имеет в виду оформленное синхронное слово, то авангард — расформированное диахронное слово.

Явление, так сказать, энантиоморфизма парадигмы «символизм/авангард» со всей очевидностью наблюдается в противоположном отношении этих формаций к анаграммам.

Если у символистов (и задолго до них — например, у Фета) анаграммируемое имя — конечная точка устремления текста, некая идеальная «словоформа», в которую стремится свернуть-

ся вся семантика и весь план выражения текста, то у авангардистов анаграмма — отправная «словоформа» или «пре-текст», тогда как самый текст являет собой и семантическую и формальную их экспликацию. В некоторых случаях искомая анаграмма-«словоформа» символистов даже композиционно формируется и выявляется лишь в финале текста и этим самым ставится в позицию «пост-текста» (обычно же такая анаграмма-«пост-текст» выводится и вербализуется читателем как итог чтения). Так, в частности, построен уже не раз разбиравшийся сонет Вячеслава Иванова «Есть мощный звук: немолчною волной...» из цикла «Золотые завесы» (Вяч. Иванов 1976: 197—198; ср. разборы в: Аверинцев 1976: 48-49; Фаруно 1980а: 150—152; Топоров 1987: 222—226), где весь текст с его формальными и мотивными аспектами результирует в финальном стихе и в финальном же имени «Маргарита»: «В морях горит — Сирена Маргарита».

С другой стороны, такие стихотворения как «Имя твое — птица в руке...» из цикла «Стихи к Блоку», «Небо катило сугробы...» из посвященного Илье Эренбургу цикла «Сугробы» Цветаевой или стихотворение Пастернака «Памяти Рейснер» начинают с имени, выведенного в «пре-текст», т. е. с имени, заданного либо в первом стихе (как у Пастернака: «Лариса, вот когда посожалею...») либо в заглавии или в посвящении, тогда как сами тексты являют собой формально-мотивно-семантическую экспликацию этого исходного имени. Такая вынесенность имени в «пре-текст», конечно, принципиально отлична от внешне сходной встречающейся и у символистов вынесенности имени в начало или в заглавие: там оно анаграммируется повторно и обычно как иноязычный омоним или иносистемная мифологема (см., например, Вяч. Иванова — 1976: 120 и 198 — «Valerio Vati» — или «Что в имени твоём пьянит? Игра ль...» с предваряющим эпиграфом *Ad Lydiam* и их разбор в: Топоров 1987: 223—225). У авангардистов ни дублирующей ни повторной-омонимной анаграммы нет: место анаграммы занимает у них смысловая дешифровка вычленяемых аспектов отправных имен или словоформ.

Короче говоря, если символизм строит новое «слово» с новым семантическим наполнением, то авангард такое же «слово» расшифровывает, подходит к нему как к культуре или мифологеме и эксплицирует накопленные в нем культурой смыслы. Или, иначе: если символизм — шифрует, то авангард — дешифрует, если символизм строит мифологемы или «архисемы», то авангард рассматривает их как требующий прочтения «текст» и движется к создавшим их промежуточным «семам» вплоть до «архисем». Обе этих формации, несомненно, удерживаются в неких

заданных общекультурных и общезыковых рамках и черпают соответствующие санкции для своих текстопорождающих процедур во вводимых (или выводимых) лексемах и мотивах. Если на это явление взглянуть с перспективы в то время актуальной и для символизма и для авангарда проблемы «внутренней формы слова», то можно сказать, что символизм внутреннюю форму создает (его тексты играют роль внутренней формы финальных «архисем»), тогда как авангард такую внутреннюю форму выявляет (его тексты играют роль этимонов или «архисем» по отношению к отправному слову, имени или мотиву).

Когда символизм создает «слово» или «язык», повышает его семантическую объемность и этим самым стремится к уравниванию по семантическому объему слова и языка или слова и культуры, то авангард анализирует унаследованное «слово» и «язык», движется к его основам и, так сказать, к рече- и семиогенным инстанциям. Возвращаясь к Флоренскому и к его пониманию языка, не сложно теперь заметить, что, с одной стороны, в области постулатов Флоренский ближе к символизму, а с другой, уже в области применяемой аргументации и аналитического подхода к слову, Флоренский сам проделывает одно и другое и не менее близок также и к поведению авангарда. Среди опубликованного наследия Флоренского наиболее показательна в этом отношении глава «Термин» (1986 а).

Оговаривая статус и роль терминов в науке и культуре, т. е. в истории мысли, Флоренский ставит термины в положение таких мыслительных единиц, которые носят характер «свернутых текстов» данной науки или культуры, т. е. характер «носителей и выразителей накопленного мыслительного опыта». Не требуется особая пронизательность, чтобы заметить, что в данном отношении концепция терминов родственна у Флоренского его концепции «слова» или «языка», с одной стороны, а с другой, по признаку хранения памяти о прошлом опыте и перспективности на будущее типологически соответствует «символу» символистов, тоже ведь имеющему двойное (правда, иерархическое) вхождение. Но самое интересное то, что такое «накопление» интеллектуального опыта и такое «сворачивание» его в одну терминологическую единицу, в одну «словоформу» показывает Флоренский на примере самого понятия «термин», обращаясь к его истории и двигаясь вспять вплоть до исходных мифических представлений о ларах-предках-хранителях и о божестве начал-граней Терме (см.: Флоренский 1986 а: 255—264, главки X—XI). Эта, отчасти мифопоэтическая, процедура Флоренского имеет свое соответствие в поэтической, а точнее — в «археопоэтиче-

ской», дешифрующей культуру идвигающейся вспять к истокам культуры и языка — практике авангарда.

Не распространяясь на многочисленные примеры, напомним только «версту» и «столб верстовой» у Цветаевой, в частности, в ее поэме «Ханский полон» (Цветаева 1982: 127—131), где «верста» трансформируется в сторону своей исторической диахронии и сближается с исходным «земля, борозда, поворот плуга» (это хорошо показано в: Зубова 1987: 56—57, 65), а «столб верстовой» оборачивается «психопомпом», водителем на «тот свет» — сначала в «гроб-землю», затем «к ангелам в стан» (ср. среди привлекаемых Флоренским — 1986 а: 256 — этимологических данных слова «термин» упоминание значений «пограничный столб» и более древнего «борозда»).

Дискурс Флоренского о языке имеет, таким образом, свое соответствие в реальной поэтической практике его времени. О взаимозависимости тут говорить, конечно, не приходится. Проблема представляется иначе: и тогдашнее языкознание, и концепция языка Флоренского, и энантиоморфная формация «символизм/авангард» — типологически родственны и порождены одним и тем же культурным механизмом. А это и есть та причина, почему, с одной стороны, Флоренский легко отождествляется с символизмом, а с другой — не конфликтует с авангардом. Но по этой же причине все эти явления нуждаются во внешнем метаязыке описания: описание Флоренского через «символизм/авангард» или наоборот неизбежно обернется ложным кругом. Здесь не место вдаваться в подробности, однако, как кажется, одной из категорий требующегося языка описания должна быть «катахреза» (для авангарда она вполне детально разработана в: Дёринг-Смирнова, Смирнов 1982: 72—122). В дискурсе о языке катахрестичность мышления Флоренского выражена в выдвинутости на фундаментальную позицию «антиномичности» слова и языка; в дискурсе о «термине» — в промежуточной позиции «термина» меж накопленным опытом и распахивающейся перспективой в «неведомое будущее» (кстати, описывающая этот промежуточный характер «термина» метафора Флоренского «восхождения в гору» уже сама по себе катахрестична и вовсе не случайно этот же мотив оказался сюжетогенным мотивом и у авангардистов, а с исключительной силой он выражен у Пастернака, например, в «Волнах» или в стихотворении «Вечерело. Повсюду ретиво...»); а самым ярким примером катахрестического мышления Флоренского может считаться его «Пояснение к обложке» (Флоренский 1985: 369—379), т. е. разбор гравюры Фаворского для обложки «Мнимостей в геометрии». Естественно, катахреза авангарда не

тождественна катахрезе Флоренского. Если Флоренский локализует ее в «антиномии» «слова созревшего» и «термина», то авангард — у истоков речи, в сфере семиогенных инстанций. Тем не менее и здесь наблюдается между ними определенная параллель.

В главке XVII «Антиномии языка», переходя к разбору концепции Линцбаха, Флоренский говорит (1986 b: 153):

<...> Язык — самое глубокое из проявлений Я, и Я, без языка, — уже окончательно не выраженное вовне, — перестает быть объектным даже для себя; оно тогда всячески не действенно. Посягнуть на язык, на орган нашей мысли и, шире, — нашей личности, и пытаться вместо него поставить условность, хотя бы и гениально придуманную, но не связанную с нами непосредственно, — это значит пытаться вырезать рождающие недра нашего духа и заметить их механизм.

Проблема тождества «языка» и «Я» — проблема современной лингвистики (ср. главу XXIII «О субъективности в языке» в: Бенвенист 1974: 292—300) и нейросемиотики (ср.: Вяч. Вс. Иванов 1978). Но каков ни окажется результат исследований в этой области, существенно, что такое тождество Флоренским предполагается. Крайне интересно также, что не иначе данная реляция выглядит и в поэтической практике авангарда.

Независимо от деклараций с их требованием разрушить язык футуристы, в том числе и Хлебников, разлагая язык, движутся к его семиогенным инстанциям. При этом со всей необходимостью они вынуждены погрузиться в носителя языка, т. е. в самое «Я». Красноречивее всего свидетельствуют об этом как настойчивые мотивы «голоса, горла, дыхания, голосовых струн, мозга, соматических реакций» и т. д., так и мотивы «анатомических сечений», вскрытия «черепа» и т. п. Более того: на этом «акция» авангардистов не останавливается. Уровень соматический или уровень «мозга» — всего лишь порог, за которым движение продолжается еще далее вглубь, как сказал бы Флоренский, к нулю, к исчезновению «Я» (и телесного и речевого). То, что достигается, та нулевая точка, — точка некоего катахрестического состояния и полного отождествления растворяющегося «Я» со всем сущим или с мирогенной инстанцией. Это явление станет очевидным, если авангардные тексты читать не изолированно друг от друга, а в их последовательности (кстати, авангардная текстовая единица и есть не единичное стихотворение, а цикл, сборник, книга).

Принцип последовательности (сборников, циклов или дробящихся поэм) есть одновременно и авангардный «археосюжет»:

нисхождение вглубь истории культуры, языка и себя, своего «Я». Такое «Я», конечно, растворяется, исчезает (ср. метаморфозы-исчезновения «Я» у Цветаевой, у Пастернака, у обериутов, особенно у Введенского). Но теперь надлежало бы спросить, куда это «Я» исчезает, чем становится. При более внимательном прочтении авангарда оказывается, что это исчезновение есть слияние с мировым интеллектуальным потоком, что иногда едва ли не буквально формулируется как поток *logoi* с его устремленностью к причине и цели всего сущего — к Логосу (ср. финал «Поэмы Воздуха» Цветаевой; см. также: Фагуно 1985: 393—408). Авангард, таким образом, не разрушает язык, а наоборот — утверждает его путем апофазы и дешифровки вплоть до его истоков. Не исчезает также и «Я». Это «Я» просто перестает быть отъединенным частным «Я» и становится «архе-Я», «Я» родоначальным, тождественным языку (но не «словесному», в чем прав Флоренский, а языкогенной инстанции, чего, в свою очередь, Флоренский не увидел в отдельно приводимых примерах из авангарда). Вот один из многочисленных примеров такого рода — Маяковский в 4-й главке третьей части «Охранной грамоты» Пастернака (1982: 263—264; разбор этой главки см. в: Фагуно 1987 b). Пастернаковский «Я» увидел Маяковского в кафе на большом желтом бульваре и зашел туда; «Немного спустя» Маяковский «предложил кое-что прочесть»; из очередных абзацев следует, что Маяковский читает трагедию «Владимир Маяковский»; пастернаковский «Я» это чтение излагает так:

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочки, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом издании.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направлении, без которой поэзия — одно недоуменье, временно не разъясненное.

И как просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытие, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержания.

Переход от «реального» Маяковского (на уровне «реальности» «Охранной грамоты») к Маяковскому-«тексту» и затем выход в «горловой край его творчества» — не финальная точка. Предел — «та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности». Дело в том, что «оригинальность» тут не эпитет или

похвала, а указание на «генезис» или «родословную поэта»: лат. *origo* «происхождение; род; родоначальник, предок; родина, первоисточник», а *originatio* — «словопроизводство, этимология». Тут едва заметная семантика «родового начала, первоисточника» гораздо отчетливее выражена в другом месте «Охранной грамоты» (главка 3, там же: 262) под видом образа Маяковского как «конькобежца»:

<...> и в глубине за всем этим, как за прямою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно.

Другие мотивы «Охранной грамоты» позволяют более точно идентифицировать «оригинальность» = «происхождение, первоисточник» и «всем дням его день» как библейский эпизод борьбы Иакова с неопознанным Ангелом в *Бытии* (32: 24—31), завершающийся стихом «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл; и хромал он на бедро свое» (попутно замечу, что пастернаковские «коньки» имеют своим эквивалентом в его системе пастернаковскую же «хромоту» = «атрибут поэта»). Так чистая субъективность, в которой упрекает авангард Флоренский, на деле ведет к требуемой Флоренским «общечеловечности», но на ином полюсе языка — не на полюсе «слова», а на полюсе «генезиса». Желательно еще досказать, что «общечеловечность языка» авангардистов налицо и в примерах Флоренского, которые сам Флоренский все еще читает в рамках «звукоподражания» или «лингвомимезиса» (см. Флоренский 1986 b: 140—141). Тем временем имитации иноязычия — вариант авангардного полиглотизма, с одной стороны, а с другой, — более глубокого представления о языке: язык, на котором стремится говорить авангард, не оформившийся конкретный этнический язык, а *langue*, т. е. «язык-система», что в плане выражения и получает вид языковой смеси или разноязычия.

Исходя из традиционной реляции «автор — высказывание» — для слушателя-читателя или «текст — внешний читатель», Флоренский и не мог иначе оценить экстремальные примеры из футуристов, а особенно же — «поэму» = «чистый лист» Гнедова. Дело, однако, в том, что авангард таких текстов и не строит. Наоборот — он дешифрует имеющиеся тексты, будь то тексты литературные, тексты культуры или же самый язык во всех его аспектах. Авангардный субъект («Я») ведет себя по правилам получателя, дешифровщика. Поэтому и на «разложение» слова авангардистами следует смотреть не как на сообщение при помо-

щи разлагаемого слова, а как на прочтение потенций этого слова при помощи его разложения. Авангард ничего не сообщает при помощи языка, он поступает иначе: заставляет имеющийся язык выдать свою семиотику и свою диахронию, т. е. сообщить самое себя (подробнее механизмы дешифровки и экспликативного текстопостроения у авангардистов рассматриваются в: Faruno 1989 a–b).

Вопреки декларативным заявлениям, авангардисты не говорят, а «слушают/внимают/вникают», читатель же получает итог или весь процесс такого «вникания — понимания». Так, у Цветаевой ее «Я» не произносит слова вовне, к другому: это слово цветаевское «Я» произносит внутрь, усваивает его вплоть до биологического усвоения и отождествления с ним. Таково, в частности, ее стихотворение «Имя твое — птица в руке...» из «Стихов к Блоку» (его разбор см. в: Faruno 1973 и 1978: 67—69), где анализируется и поглощается слово-имя «Блокъ» и уже непронизносимое «Бог». Такова, конечно, и заумь Хлебникова. Поэтому, создавая палиндромы типа поэмы «Разин», он в обратном прочтении-осмыслении обнаруживает в «Разине» самого себя, своего двойника: «Я Разин и заря». Палиндром, кстати, так же полиязычен, как и все другие полиглотизмы авангарда. Формальная же омонимность обоих прочтений вскрывает суть этого полиглотизма как иносемиотичности. Семиотика — не семантика. Поэтому «заумь» авангарда, хотя и асемантична, но всегда семиотична и в этом смысле всегда, «язык-система». Возможно, что в неопубликованных главах «Антиномии языка» эта проблема у Флоренского и возникает. Об этом можно догадываться на том основании, что и его чтение гравюры Фаворского и его толкование иконостаса (см.: Флоренский 1972 или 1985: 193—316) именно *семиотичны*. и не поддаются переводу на метаязык того варианта «семиотики» (типа тартуско-московской), которая оперирует понятием «знака» (типа знаков Пирса). Семиотика — это не «значения» и «обозначения», а «значимости», оборачивающиеся на уровне мира градацией онтологических статусов. Вот эти онтологические статусы и вскрывают в языке и культуре авангардисты, а Флоренский — в иконе, или в иных «геометрических мирах».

С последним связана очевидным образом и проблема «вживания». Показательно при этом, что авангардная дешифровка и авангардное «вникание» в «слово» и в «предмет» (ср. цветаевское «Так вслушиваются [в исток Вслушивается — устье]. Так внюхиваются в цветок: Вглубь — до потери чувства!») и есть реализация «вживания». С той разницей, что «вживание» Флорен-

ского каким-то образом (и это отдельная проблема) позволяет «Я» не исчезнуть и вернуть себя, так сказать, «вживленного» в произносимом слове. Авангардисты этой второй фазы, кажется, не знают. Она у них есть под видом «повтора», но этот «повтор» уже всегда иносемиотичен. Таков, например, «повтор» в системе Пастернака: он, как правило, есть «второе рождение» после временной символической смерти пастернаковского «Я». Само же «вживание» завершается состоянием катахрезы.

В заключение можно сказать, что Флоренский с его «Антиномией языка» типологически во многом близок к авангарду. С той разницей, что авангард решает иные проблемы (практическая поэтическая дешифровка культуры и выявление ее семиотичности), а Флоренский — иные: интеллектуальное осмысление сущности языка. В этом же направлении движется и тогдашнее языкознание: к фонеме (естественно, не в смысле «фонемы» Флоренского) и к дистинктивным признакам. По Соссюру — к различиям, на которых зиждутся значимости, но которые сами по себе никак материально не выражены и не поддаются вычленению. Легко заметить, что и соссюровское членение на «язык» = «систему» и «речь» = «реализацию системы», и соссюровские «значимости» — та же катахреза, что — с иными результатами — катахреза, формирующая сознание энантиоморфной формации «символизм/авангард», с одной стороны, а с другой — выдвигающая на первое место проблематику антиномий, в том числе и «Антиномии языка» Флоренского.

Варшава, 7.1.—22.2.1988

ЛИТЕРАТУРА

- Аверинцев С. С.* Вячеслав Иванов // Вячеслав Иванов. Стихотворения и поэмы. Л., 1976.
- Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
- Дёринг-Смирнова И. Р., Смирнов И. П.* Очерки по исторической типологии культуры: ... → реализм → (...) → постсимволизм (авангард) → ... Salzburg, 1982.
- Зубова Л. В.* Потенциальные свойства языка в поэтической речи М. Цветаевой (Семантический аспект). Учебное пособие. Л., 1987.
- Иванов Вячеслав.* Стихотворения и поэмы. Л., 1976.
- Иванов Вяч. Вс.* Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.
- Пастернак Борис.* Воздушные пути. Проза разных лет. М., 1982.
- Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М., 1977.

- Топоров В. Н. К исследованию анаграмматических структур (анализы). (В:) Исследование по структуре текста. М., 1987.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Некоторые вопросы теории поэтического языка: Язык как моделирующая система — Поэтический язык Цветаевой. (В:) Semiotyka i struktura tekstu. Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Słowistyki. Warszawa, 1973. Praca zbiorowa pod red. Marii Renaty Maýenowej. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk, 1973.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Введение в литературоведение. Часть I. Katowice, 1978.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Введение в литературоведение. Часть II. Katowice, 1980.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Мифологизм и теологизм Цветаевой («Магдалина» — «Царь-Девица» — «Переулочки»). Wien (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 18), 1985.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Археопэтика «Писем из Тулы» Пастернака. (В:) Mythos in der Slawischen Moderne. Herausgegeben von Wolf Schmid. Wien (= Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 20), 1987 a.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Бульвар, собаки, тополя и бабочки. (Разбор одной главы «Охранной грамоты» Пастернака) // Studia slavica Hungarica. XXXIII. Budapest, 1987 b.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Дешифровка. I. (В:) Pojmovnik ruske avangarde. Pesti svezak. Uredili: Aleksandar Flaker i Dubrovka Ugrepig. Zagreb, 1988 a.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Дешифровка. III: Транссемиотическая лестница авангарда // Umjetnost Rijei. God. XXXII. Zagreb, 1988 b.
- Faryno J. (Фарыно Е.). Дешифровка II: Паронимия — Анаграмма — Палиндром в поэтике авангарда. (В:) Pojmovnik ruske avangarde. Sedmi svezak. Uredili: Aleksandar Flaker i Dubrovka Ugrepig. Zagreb, 1989.
- Флоренский П. А. Иконостас // Богословские труды. 9. М.: Изд. Московской патриархии, 1972.
- Флоренский П. А. Строеие слова. (В:) // Контекст-1972. Литературно-теоретические исследования. М., 1973.
- Флоренский П. А. Собрание сочинений. I. Статьи по искусству / Под общей редакцией Н. А. Струве. Paris: YMCA-Press, 1985.
- Флоренский П. А. Термин // Dissertationes Slavicae. XVIII. Szeged, 1986 a.
- Флоренский П. А. Антиномия языка // Studia Slavica Hungarica. XXXII: 1—4. Budapest, 1986 b.
- Цветаева Марина. Стихотворения и поэмы: В 5 т. Том второй: Стихотворения 1917—1922. New York: Russica Publishers, Inc., 1982.

